

Григорий Померанц
Сквозь звездный ужас

У Николая Гумилева есть стихотворение «Звездный ужас», о первых людях, взглянувших в небо. Животные не смотрят в небо. И Гумилев представил себе ужас первых смельчаков, повернувших головы вверх. Попытки повторялись одна за другой. И каждый раз смельчаки умирали от страха. Они не выдерживали столкновения с бесконечностью. По-моему, большинство людей до сих пор не выдерживают столкновения с неразрешимым. Невозможно представить себе бесконечное пространство и время, и только для немногих упорное созерцание бесконечности становится вызовом, рождающим внутреннюю бесконечность духа, внутренний свет, поглощающий внешнюю бесконечную тьму. Об этом – позже. И позже – о других неразрешимых вопросах, которые люди просто отодвигают от себя. В стихотворении Гумилева дело кончилось иначе: маленькая девочка взглянула вверх, увидела звезды – и запела песню. Наверное, звезды показались ей светляками, усеявшими небо. Если считать, что так и было, то с этого пошло украшение небесного свода воображаемыми рыбами, раками, тельцами, наподобие рисунков, украшавших своды пещеры. И поднебесный мир стал большой пещерой. А небо слилось с образом туманной небесной силы, которой раз в год вождь приносил жертву.

У Рильке Бог сливается с миром, который он создал, с образом предвечной башни:

Я кружусь вокруг Бога, предвечной башни,
 Тысячи лет подряд.
 И не знаю, кто я: сокол, ветер
 Или великая песнь.

(подстрочный перевод)

Гимны вед действительно кружились так вокруг ведических богов. Крылья песни поднимают человека, и он сам чувствует за плечами крылья. Песня кружится над загадкой Бога и побеждает звездный ужас. Впоследствии так кружится мысль Иова вокруг Бога, получившего лик единой, всемогущей, вечной справедливости, – почему он допускает страдания невинных? Всякая концепция вселенной, с Богом или без Бога, упирается в невозможность представить себе бесконечное пустое пространство – или в неразрешимое противоречие между всемогущей справедливостью и миром, где все всех едят. И тот или другой неразрешимый вопрос становится вызовом, брошенным человеческому сердцу, становится огнивом, высекающим искру, и вспыхнувший внутренний огонь озаряет внешнюю тьму.

Рассуждения здесь бессильны. Только огонь в груди гасит ужас бездны, бездны пространства, где тонет все земное, бездны смерти, бездны слепой судьбы, бездны человеческой неблагодарности и несправедливости. Я чувствую этот прорыв сквозь бездну в словах из сказки Михаэля Энде: учись падать! Учись падать и держаться ни на чем, как звезды!

Озаренная внутренним огнем, бездна становится твоим собственным великим океаном и ты растворяешься в нем. Чужое становится своим, родным, и твое собственное лицо – лицом мира, лицом того, что только что казалось бездной, раскрывшей свою пасть. Рильке это удалось сказать в «Импровизации на тему Каприйской

зимы». Человек, осознавший себя лицом мира, не страшится огромности своего великого тела. Но толчком к полету над страхом был все-таки страх, овладевший древним певцом, может быть – сложившим первые веды. И башня, вокруг которой вихрь носит воображение Рильке, и горные кручи ужасны, но вскарабкавшись на вершину горы, человек парит над скалами, и душа его взлетает в небо. В полете над страхом он становится единым с полетом всемогущего духа.

Горы стали первыми алтарями. На них приносились первые жертвы и вместе с дымом костров возносились ввысь первые молитвы. Горы рождали сознание внутренней мощи духа. В горах и ущельях рождался спор внутренней бездны с бездной внешней. Но не во всех, побеждавших трудности горных круч. И не все люди понимают слова князя Мышкина: разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Не все видят в одном дереве всю космическую силу жизни. И не все, поднявшиеся к могиле Волошина, чувствуют себя преображенными, созерцая сразу три синие бухты.

Счастье – чувство полноценного внутреннего ответа на вызов. И когда открытие Галилея разрушило образ небесного свода и открытая бездна потрясла Паскаля, родилась его знаменитая мысль: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломить его. Но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не сможет отнять у него этого преимущества». Если вся вселенная обрушится на него! Этот образ до сих пор не влез в многие головы. До XVII века его просто не было. Для рационального XVII века это риторика, подводящая к утешительной концовке: ничто не может унижить величия разума. И только романтики поняли Паскаля. И Тютчев развернул вызов бесконечности в своих стихах и захватил им Достоевского и Толстого (и меня, вслед за ними).

Сознание ужаса не утешало Тютчева. Утешало другое: когда природа поворачивалась к нему цветущей жизнью и все в мире казалось цветущей жизнью:

«В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...»

Но сильнее захватывал кошмар одиночества в мире:

Природа – сфинкс. И тем она верней
К себе влечет и губит человека,
Что может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Может статься. Но не может быть принято. Как Достоевский в «Записках из подполья» не мог принять стены, перед которой разум, наука, законы природы велят смириться.

Паскаль остался первым в великом ряду. Нежелание смириться в нем нарастало – пока не вспыхнул таинственный огонь, о котором он одним словом – «огонь» – свидетельствовал в своем «амулете», с точным указанием времени, когда огонь вспыхнул и когда угас. Потом несколько человек повторило опыт Паскаля. Еще несколько отступили, не дойдя до итога, но оставили нам свой порыв.

Достаточно ли этих вспышек для замысла, заложенного, может быть, Богом в эволюции жизни? Я этот замысел чувствую, и я думаю, что человечество в целом еще не завершилось, что оно еще не совсем сотворено. Но люди бредут по земле, опустив голову к заботам и страстям, как скот к траве своего пастбища. Порыв Паскаля только подчеркивает общую незавершенность. Недаром свидетельство его было зашито в подкладку камзола: его бы не поняли. Поняли сравнение с мыслящим тростником (оно сразу вписалось в культуру и запомнилось, вошло в поговорку). Про огонь люди не могли понять и отодвигали, забывали.

Человечество до сих пор запоминает великие страсти, забывая, что всякое конечное число, деленное на бесконечность, равно нулю. И страсти Чингисхана, Наполеона, Ленина, Сталина, Гитлера – так же равны вечному нулю, как споры на кухне коммунальной квартиры. Знаменатель нашей жизни – бесконечность, и наша жизнь чего-то стоит, если в числителе ее тоже попадает что-то подлинно бесконечное, тут надо было сказать – вечное, но я хочу сохранить числительную метафору, она доходчивее для людей, знающих арифметику и не читавших мистиков. Впрочем, у Рамакришны в числительной метафоре не было нужды. Он сравнивает Брахман с океаном и тут же дает единство с океаном в порыве веры. В индийской культуре есть и такая метафора – единство Атмана и Брахмана. Ее можно сравнить с единством залива с океаном. Но все это только метафоры. И в Евангелии – своя метафора: «царство Божие внутри нас». Все царство в маленьком человеческом сердце. Это не менее ярко, чем единство залива с океаном: непостижимое, но осязаемое единство бесконечного космоса и мыслящего мозга.

Суть метафоры – опыт Паскаля (и других, в других культурах). Поняв, что в «числителе» человеческой жизни должен быть вечный огонь, вечный свет, человек не может успокоиться, пока не почувствует во вспышке внутреннего огня опыт, перекликающийся со вспышками внутреннего огня у древних отцов (молившихся Богу Авраама, Исаака и Иакова). Не философов и ученых, – подчеркивает Паскаль, не мастерство анализа и синтеза, а непосредственный опыт мистика.

Так было, так повторялось тысячи лет. Но сколько раз? Не близко ли это множество к семи или тридцати шести праведникам, на которых держится мир? Может быть, Богу <и не нужно доводить всю биологическую массу человечества до священного огня? Ему> нужно качество, а не количество? Во всяком случае, замечательному

человеку, Дитриху Бонхофферу, качество бесконечно дороже было количества; и мне с юности это стало очевидно. Количество священного огня, в масштабе вселенной всё равно, ничтожно, но это ничтожество перевешивает всю массу туманностей. [И человечество оправдано тем, что оно рождает детей, как рыбы мечут икру, чтобы одна икринка из тысячи тысяч стала совершенной рыбой.]

Достоевский в каждой малютке чувствовал то, что буддисты называют татхагатагарбхой (зародышем просветленного). И пусть любовь связывает мужчин и женщин и рождаются дети (не только в хороших семьях: Алеша Карамазов был сыном Федора Павловича); и пусть они идут навстречу искушениям и учатся преодолевать искушения; для равновесия мира этого, может быть, достаточно.

Сейчас доброхоты выбрасывают трудные романы Достоевского из школьных программ. От трудных текстов у мальчиков и девочек болит голова, и это мешает им поскорее стать менеджерами и маклерами. Между тем, именно к подросткам, подобным Аркадию Долгорукому, к старшим школьникам и студентам, приходит иногда звездный ужас или ужас Иова перед муками невинных, и в муках рвутся подростки к новому Адаму; разумеется, только немногие. И чистая правда, что у статистически среднего студента от карамазовских вопросов только голова болит. Но пусть поболит и пройдет. Долго она не болит. А культуру все-таки создают не статистически средние, а крайние, немногие, те, кто пробиваются в число душ, открытых Богу, угадывающих Божий след и идущих по нему. Эти немногие создали великую литературу XIX века, и мы до сих пор держимся за нее, чтобы не потонуть в житейском болоте.

А человечество? Есть ли замысел сотворить его в целом, как совершенную целостность? Или это только мечта смешного человека, и дробящий разум мечтателя сам всё разрушит? Не знаю. Почему-то мне кажется, что в полноте космоса все возможно, самое великое,

небывалое чудо. И святому Духу, объемлющему космос и всюду находящему свой путь, этого довольно. А на Земле довольно того, что есть, то есть семи или тридцати шести праведников. Довольно тех немногих собеседников Бога, которых Святой Дух здесь находит.

И я обращаюсь к тем, кто колеблется: не стремитесь к успеху. Я был счастлив, не достигнув никакого успеха. Я счастливо прожил девяносто лет. Я любил и меня любили. То, что я говорил и писал, не встретило поощрения, но радовало какой-то узкий круг. Для этого круга я работал и не тужил, что за пределом узкого круга меня не знали. И я обращаюсь к своим читателям: примыкайте к меньшинству, тянитесь за ним. Тянитесь к мудрости сосен, поднимающихся вверх, не думая об успехе, к солнечному свету. Препятствия на вашем пути – только вызов человеческому духу. И человек рожден ответить на вызов и найти в созерцании силу сбросить всю грязь, налипшую на подошвы.

Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

Так кончает Рильке свое «Созерцание».

Не надо отчаиваться, что семена, брошенные Рильке, не дошли до миллионов, и вряд ли больше дойдут семена, брошенные в стихах Зинаиды Миркиной (тем более, что некогда угаснет язык этих стихов). Бог был прав, не отвечая на стенания Иова, почему мир таков, каким он был – и каков он есть. В иные минуты мир – тюрьма, и Дания один из худших застенков, но для духа нет преград, и дух создает страну Небывалию на пространстве величиной в ладонь.

Число звезд в вечности неизменно, – писал Рильке. – Этот порядок невозможно переменить никакому правительству. Вместо

одной угасшей звезды вспыхивает новая. И незримый свет их доходит до нас и поддерживает нас. И поднявшись со своего гноища, Иов находит силы начать новую жизнь и говорит: прав ты, Господи! Я принимаю тебя со всем, что ты сотворил, со всеми вызовами, на которые я должен ответить. И если я не найду ответ, – я, может быть, подтолкну к нему других.

Многое из того, что здесь сказано, подсказало стихотворение Зинаиды Миркиной, и я кончу этими стихами:

Пусть уймется мой плач, подогнутся колени,
Даже если над крышей безумствует гром.
Я хочу, чтобы мой Господин совершенный
Отразился, как в зеркале, в сердце моем.
Я хочу, чтобы Ель оставалась такою,
Как сейчас, – доносящей мне Божию весть.
Я хочу Твоего не нарушить покоя.
Я хочу, чтобы Ты был таким, как Ты есть.
Даже если... О, Господи, снова и снова
Унимаю свою неумную грусть.
Я люблю лишь Тебя. Мне не надо другого.
Хоть земной своей участи глухо страшусь.
Так пуская между нами исчезнет граница,
Перед бездной Твоею рассеется страх.
Я согласна с Тобой. Хоть с Тобой согласиться
Так же трудно, как небо держать на плечах.